

Кислая месть. Джордж Оруэлл

Когда я встречаю в прессе такие выражения, как «трибунал над военными преступниками», «наказание за военные преступления» и т.д., я вспоминаю случай в лагере для военнопленных в Германии, свидетелем которого я стал летом этого года.

Этот лагерь мне и еще одному корреспонденту показывал низкорослый венский еврей, записавшийся в отделение американской армии, которое занимается допросами военнопленных. Это был живой, светловолосый, красивый молодой человек лет двадцати пяти, политически гораздо более грамотный, чем большинство американских офицеров, так что находиться с ним было значительно интереснее. Лагерь был разбит на летном поле, и после того, как нам показали заключенных за ограждением, наш гид повел нас в ангар, где проходили «филтрацию» пленные особых категорий.

В одном конце ангара на бетонном полу лежало человек двенадцать. Нам объяснили, что это офицеры СС, которыми американцы занимались отдельно от всех. Среди них был один человек в рваной гражданской одежде, лежащий с рукой на лице, и по видимому спящий. Его ноги были страшные, чудовищно изуродованные. Они были симметричны, но по форме скорее напоминали лошадиные копыта, чем человеческие ноги. Когда мы подошли к ним поближе, маленький еврей начал заводиться.

«Вот настоящая свинья!» – сказал он, и вдруг со всей силы ударил тяжелым армейским сапогом лежащему прямо по распухшей ноге.

«Встать, свинья!» – заорал он просыпающемуся человеку, и повторил то же по-немецки. Пленный поднялся на ноги, и неуклюже стал по стойке «смирно». Точно так же сознательно заводя себя – он почти подпрыгивал – еврей стал нам рассказывать историю этого пленного. Он был «самым настоящим» нацистом; номер его партбилета говорил о том, что он был членом нацистской партии с самого начала, и имел чин в политическом отделе СС, соответствующий военному званию генерала. Мы почти наверняка знали, что он нес ответственность за концлагеря, пытки и виселицы. Короче говоря, он представлял собой все то, против чего мы пять лет сражались.

Я тщательно изучал внешний вид этого человека. Даже со скидкой на грязный, голодный, небритый вид всех военнопленных, он выглядел отвратительно. Но он не казался человеком жестоким или страшным по какой-либо причине: просто нервным, и даже в каком-то смысле интеллигентным. Его тусклые, быстрые глаза скрывались за толстыми очками. Он мог быть священником, лишенным сана, актером, карьеру которого разрушил алкоголь, или медиумом-спиритуалистом. Я видел обитателей лондонских пансионатов и посетителей читального зала Британского Музея, очень похожих на этого человека. Он явно не был психически уравновешен – возможно, он даже потерял здравый рассудок, хотя он явственно боялся получить еще один удар. Тем не менее, все, что о нем рассказывал еврей, запросто могло быть правдой, и скорее всего и было правдой! Нацист-мучитель нашего воображения, чудовищная фигура, против которой мы столько лет боролись, на поверку оказался этим жалким существом, которое очевидно нуждалось не в наказании, а в какой-то психологической помощи.

Потом были дальнейшие унижения. Другого офицера СС, рослого, мускулистого мужчину, заставили раздеться до пояса, и показать татуировку группу крови, наколотую у него под мышкой; еще одного заставили нам рассказать, как он солгал о своей принадлежности к СС, и пытался выдать себя за рядового Вермахта. Мне стало любопытно, получает ли еврей удовольствие от приобретенной таким образом

власти. Мне показалось, что не получает, что он просто – как посетитель публичного дома, как мальчик, курящий свою первую сигару, как турист, шляющийся по картинной галерее – уговаривает себя, что получает от всего этого удовольствие, и ведет себя так, как мечтал себя вести, когда сам был бесправен.

Бессмысленно винить немецкого или австрийского еврея в желании расправиться с нацистами. Кто знает, какие счеты хотел свести этот молодой человек; очень может быть, что у него убили всю семью, и в конце концов, удар сапогом – такая мелочь в сравнении с преступлениями гитлеровского режима. Но что этот случай, как и многое другое, увиденное мною в Германии, мне показал, так это то, насколько незрело и несерьезно само понятие мести и наказания. Строго говоря, мести не существует. Мсть – это то, что хочет совершить человек бессильный потому, что он бессилен: когда бессилие уходит, уходит и желание.

Кто бы не подпрыгивал от восторга в 1940м году, предвкушая избиение и унижение офицеров СС? Но когда это становится возможным, получается нечто жалкое и отвратительное. Говорят, что когда труп Муссолини вывесили на всеобщее обозрение, одна старуха вытащила револьвер и всадила в него пять пуль, воскликнув: «Это за моих пятерых сыновей!» Такие истории придумывают газетчики, но вполне возможно, что это правда. Интересно, насколько она успокоилась после этих пяти выстрелов, о которых она наверняка мечтала годами. Условием, позволившим ей приблизиться к Муссолини на расстояние выстрела, было то, что он стал трупом.

Мера ответственности, которую публика в нашей стране несет за чудовищные условия мира, которые союзники сейчас заставляют принять Германию, заключается в том, что мы не смогли предвидеть, что наказание врага не дает внутреннего удовлетворения. Мы принимаем за должное такие преступления, как изгнание всех немцев из Восточной Пруссии – преступления, которые мы не могли предотвратить, но против которых мы по крайней мере могли протестовать – потому, что немцы нас разозлили и напугали, и тем самым убедили, что когда маятник качнется в другую сторону, мы не будем обязаны к ним испытывать жалость. Мы проводим эту политику, или позволяет другим ее за нас проводить потому, что раз уж мы решили Германию наказать, мы чувствуем, что это нужно проделать до конца. На самом деле, ненависти к немцам в нашей стране осталось мало, а в оккупационной армии, позвольте предсказать, ее будет еще меньше. Лишь ничтожное меньшинство садистов, проявляющих нездоровый интерес к «зверствам», заинтересовано в отлове всех военных преступников и коллаборационистов. Спросите обывателя, в совершении каких преступлений следует в суде обвинять Геринга, Риббентропа и других – он не сможет ответить. Каким-то образом наказание этих монстров теряет привлекательность, приобретая актуальность; более того, в заключении они почти уже не монстры.

К сожалению, требуется какой-то конкретный случай, чтобы человек осознал свои истинные чувства. Вот, например, еще одна история, происшедшая со мной в Германии. Через несколько часов после того, как французская армия взяла Штутгарт, мы с бельгийским журналистом вошли в город, в котором еще не установился порядок. Бельгиец всю войну работал на европейскую службу Би-Би-Си, и как большинство французов и бельгийцев, он гораздо жестче относился к «бошам», чем большинство англичан и американцев. Все большие мосты, ведущие в город, были взорваны; поэтому, мы вошли в город по маленькому пешеходному мосту, который немцы защищали с особым рвением. Под ступеньками на спине лежал труп немецкого солдата. Его лицо было воскового цвета. На грудь ему кто-то положил ветку черемухи, цветущей повсюду.

Бельгиец отвернулся от трупа. Когда мы перешли мост, он мне признался, что впервые в жизни видит мертвеца. Ему было лет тридцать пять, и четыре года из них он занимался военной пропагандой по радио. Тем не менее, в течение последующих нескольких дней его взгляды существенно изменились. Он смотрел с отвращением на город, разрушенный бомбежкой, на унижение, которому подвергались немцы, и даже однажды попытался вмешаться, чтобы остановить мародерство. Когда мы вернулись, он дал остаток кофе, который мы принесли с собой, немцам, на квартире у которых нас разместили. Неделями раньше он посчитал бы ниже своего достоинства дать кофе «бошам». Но он признался мне, что его чувства изменились при виде *se pauvre mort* у моста: он вдруг понял смысл войны. А если бы мы зашли в город другой дорогой, он, наверное, так бы и не увидел этот один труп из, возможно, двадцати миллионов, оставшихся после этой войны.

1945 г.